



АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО

А. И. ГЕРЦЕН



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • 1958

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО

А. И. ГЕРЦЕН



ТОМ ТРИНАДЦАТЫЙ

СТАТЬИ ИЗ «КОЛОКОЛА»
И ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1857-1858 ГОДОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1958

**СТАТЬИ ИЗ «КОЛОКОЛА»
И ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1857-1858 ГОДОВ**



ПРЕДИСЛОВИЕ <К «КОЛОКОЛУ»>

Россия тягостно молчала,
 Как изумленное дитя,
 Когда, неистово гнетя,
 Одна рука ее сжимала;
 Но тот, который что есть сил
 Ребенка мощного давил,
 Он с тупоумием капрала
 Не знал, что перед ним лежало,
 И мысль его не поняла,
 Какая есть в ребенке сила:
 Рука — ее не задушила,
 Сама с натуги замерла.

В годину мрака и печали,
 Как люди русские молчали,
 Глас вопиющего в пустыне
 Один раздался на чужбине;
 Звучал на почве не родной —
 Не ради прихоти пустой,
 Не потому, что из боязни

Он укрывался бы от казни;
 А потому, что здесь язык
 К свободномыслию привык
 И не касалась окова
 До человеческого слова.

Привета с родины далекой
 Дождался голос одинокой,
 Теперь юней, сильнее он...
 Звучит, раскачиваясь, звон,
 И он гудеть не перестанет,
 Пока — спугнув ночные сны —
 Из колыбельной тишины
 Россия бодро не воспрянет
 И крепко на ноги не станет,
 И — непорывисто смела —
 Начнет торжественно и стройно,
 С сознанием доблести спокойной,
 Звонить во все колокола.

«Полярная звезда» выходит слишком редко, мы не имеем средств издавать ее чаще. Между тем события в России несутся быстро, их надобно ловить на лету, обсуживать тотчас. Для этого мы предпринимаем новое повременное издание. Не определяя сроков выхода, мы постараемся ежемесячно издавать *один лист*, иногда *два*, под заглавием «Колокол»*.

О направлении говорить нечего; оно то же, которое в «Полярной звезде», то же, которое проходит неизменно через всю нашу жизнь. Везде, во всем, всегда быть со стороны воли — против насилия, со стороны разума — против предрассудков,

со стороны науки — против изуверства, со стороны развивающихся народов — против отстающих правительств. Таковы общие догматы наши.

В отношении к России мы хотим страстно, со всею горячностью любви, со всей силой последнего верования, — чтоб с нее спали наконец ненужные старые свивальники, мешающие могучему развитию ее. Для этого мы теперь, как в 1855 году¹, считаем первым необходимым, неотлагаемым шагом:

ОСВОБОЖДЕНИЕ СЛОВА ОТ ЦЕНСУРЫ!

ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЕСТЬЯН ОТ ПОМЕЩИКОВ!

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОДАТНОГО СОСТОЯНИЯ ОТ ПОБОЕВ!

Не ограничиваясь, впрочем, этими вопросами, *Колокол*, посвященный исключительно русским интересам, будет *звонить*, чем бы ни был затронут, — нелепым указом или глупым гонением раскольников, воровством сановников или невежеством сената. Смешное и преступное, злонамеренное и невежественное — все идет под *Колокол*.

А потому обращаемся ко всем соотечественникам, делящим *нашу* любовь к России, и просим их не только слушать наш *Колокол*, но и самим *звонить* в него!*

Появление нового русского органа, служащего дополнением к «Полярной звезде», не есть дело случайное и зависящее от одного личного произвола, а ответ на потребность; *мы должны его издавать*.

Для того чтобы объяснить это, я напомню короткую историю нашего типографского станка.

Русская типография, основанная в 1853 году в Лондоне, была запросом. Открывая ее, я обратился к нашим соотечественникам с призывом, из которого повторяю следующие строки*:

«Отчего мы молчим?»

Неужели нам нечего сказать?

Или мы молчим только оттого, что мы не смеем говорить?

Дома нет места свободной русской речи — она может раздаваться инде, если только ее время пришло.

¹ Программа «Полярной звезды»*.

Я знаю, как вам тягостно молчать, чего вам стоит скрывать всякое чувство, всякую мысль, всякий порыв.

Открытая вольная речь — великое дело, без вольной речи — нет вольного человека. Недаром за нее люди дают жизнь, оставляют отечество, бросают достояние. Скрывается только слабое, боящееся, незрелое, «молчание — знак согласия»; оно явно выражает отречение, безнадежность, склонение головы, сознанную безвыходность.

Открытое слово — торжественное признание, переход в действие.

Время печатать по-русски вне России, кажется нам, пришло. Ошибаемся мы или нет? Это покажете вы.

Но для кого печатать по-русски за границею? как могут расходиться в России запрещенные книги?

Если мы все будем сидеть сложа руки и довольствоваться бесплодным ропотом и благородным негодованием, если мы будем благоразумно отступать от всякой опасности и, встретив препятствие, останавливаться, не делая опыта ни перешагнуть, ни обойти его, — тогда долго не придут еще для России светлые дни.

Дверь вам открыта. Хотите ли вы ею воспользоваться или нет? Это останется на вашей совести.

Если мы не получим ничего из России, это будет не наша вина. Если вам покой дороже свободной речи, — молчите.

Ожидая, что будет, я принялся печатать свои сочинения и летучие листы, писанные другими. Ответа не было, или, хуже, до меня доходили одни порицания, один лепет страха, осторожно шептавший мне, что печатание за границей опасно, что оно может компрометировать и наделать бездну вреда; многие из близких людей делили это мнение. Меня это испугало.

Пришла война*. И в то время, когда Европа обратила жадное внимание на все русское и раскупала целые издания моих французских брошюр^{1*} и перевод моих «Записок» на английском и немецком языках* быстро расходился, — русских книг не было продано и десяти экземпляров. Они грудями валялись в типографии или рассылались нами на наш счет, и притом даром.

¹ «Le Vieux Monde et la Russie» было помещено сначала в английском ревью, потом в «L'Homme», потом было отпечатано в Жерсее особо* и — все продано до последнего экземпляра.

Пропаганда тогда только начинает быть действительной силой, когда она окупается; без этого она натянута, неестественна и может разве только служить делу партий, но чаще вызывает наскоро выращенное сочувствие, которое бледнеет и вянет, как скоро слова перестают звучать.

Меньшинство осуществляет часть своего идеала только тогда, когда, по видимому выделяясь из большинства, оно, в сущности, выражает его же мысль, его стремления, его страдания. Большинство бывает вообще неразвито, тяжело на подъем; чувствуя тягость современного состояния, оно ничего не делает, чтобы освободиться от него; тревожась вопросами, оно может остаться, не разрешая их. Появляются люди, которые из этих страданий, стремлений делают свой жизненный вопрос; они действуют словом как пропагандисты, делом как революционеры — но в обоих случаях настоящая почва тех и других — большинство и степень их сочувствия к нему.

Все попытки издавать журналы в лондонской эмиграции с 1849 года не удались, они поддерживались приношениями, не окупались и лопались; это было явное доказательство, что эмиграции не выражали больше мысли своего народа. Они остановились и вспоминали, народы шли в другую сторону. И в то самое время, как угасал последний французский листок демократической партии в Лондоне*, четыре издания прудоновской книги «Manuel du spéculateur à la bourse» были захватаны в Париже*.

Конечно, строгость и свирепые меры очень затрудняли ввоз запрещенных книг в Россию. Но разве простая контрабанда не шла своим чередом вопреки всем мерам? Разве строгость Николая остановила воровство чиновников? На взятки, на обкрадывание солдат, на контрабанду — была отвага; на распространение свободного слова — нет; стало быть, нет еще на него и истинной потребности. Я с ужасом сознавался в этом. Но внутри была живая вера, которая заставляла надеяться вопреки собственных доводов; я, выжидая, продолжал свой труд.

Вдруг телеграфическая депеша о смерти Николая.

Теперь или никогда!

Под влиянием великой, благодатной вести я написал программу «Полярной звезды»*. В ней я говорил:

«Россия сильно потрясена последними событиями. Что бы ни было, она не может возвратиться к застою; мысль будет деятельнее, новые вопросы возникнут — неужели и они должны затеряться, заглохнуть?— Мы не думаем. Казенная Россия имеет язык и находит защитников даже в Лондоне. А юная Россия, Россия будущего и надежд, не имеет ни одного органа.

Мы предлагаем его ей.

Четырнадцатое декабря родилось тоже в минуту одушевления, когда народ в первый раз после Пожарского шел рука в руку с правительством. Мысль русского освобождения явилась на свет в тот день, когда русский солдат, усталый после боев и длинных походов, бросился, наконец, отдохнуть в Елисейских Полях.

И неужели через сорок лет пройдет даром гигантский бой в Тавриде?

Севастопольский солдат, израненный и твердый, как гранит, испытавший свою силу, так же подставит свою спину палке, как и прежде? Ополченный крестьянин воротится на барщину так же покойно, как кочевой всадник с берегов каспийских, стороживший балтийскую границу, пропадет в своих степях? — Не может быть. Все в движении, все потрясено, натянуто... и чтоб страна, так круто разбуженная, снова заснула непробудным сном?

Лучше пусть погибнет Россия!

Но этого не будет. Нам здесь вдали слышна другая жизнь; из России потянуло весенним воздухом. Мы и прежде не сомневались в народе русском, все написанное и сказанное нами с 1849 года свидетельствует об этом. Основание типографии еще больше свидетельствует. Вопрос шел о времени, он разрешился в нашу пользу».

В день казни наших мучеников — через 29 лет — вышла в Лондоне первая «Полярная звезда»*. С бьющимся сердцем ожидал я последствий.

Вера моя начала оправдываться.

Я стал вскоре получать письма, исполненные симпатии — юной, горячей, тетради стихов и разных статей. Началась продажа, сначала туго и медленно возрастая, потом, с выхода *второй книжки* (в апреле 1856)*, количество требований

увеличилось до того, что иных изданий уже совсем нет, другие изданы во второй раз, третьих остается по нескольку экземпляров¹. От выхода второй книжки «Полярной звезды» и до начала «Колокола» *все расходы по типографии* покрыты продажей русских книг.

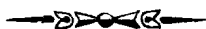
Сильнее доказательства на действительную потребность свободного слова в России быть не может, особенно вспомнив таможенные препятствия.

Итак, труд наш не был напрасен. Наша речь, свободное русское слово раздается в России, будит одних, страшает других, грозит гласностью третьим.

Свободное русское слово наше раздается в Зимнем дворце — напоминая, что сдавленный пар взрывает машину, если не умеют его направить.

Оно раздается среди юного поколения, которому мы передаем наш труд. Пусть оно, более счастливое, нежели мы, увидит на деле то, о чем мы только говорили. Не завидуя смотрим мы на свежую рать, идущую обновить нас, а дружески ее приветствуем. Ей радостные праздники освобождения, нам благовест, которым *мы зовем живых* на похороны всего дряхлого, отжившего, безобразного, рабского, невежественного в России!

¹ «Прерванные рассказы», «Тюрьма и ссылка», первая и вторая книжка «Полярной звезды» — совсем исчерпаны. Вторым изданием вышла «Крещеная собственность»*.



АВГУСТЕЙШИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

I

Вдовствующая императрица

Со смерти Николая уничтожилось постыдное стеснение в праве русским путешествовать за границей*. Добрые дела редко проходят даром; едва Александр II отрезал веревку, на которой нас держал его отец, как собственная семья его воспользовалась больше всех дарованным правом — удободвижности. Снова на всех дорогах в Европе (кроме английских!) показались великие князья, охотящиеся по немецким невестам, и бывшие немецкие невесты в русском переводе с патронимическими именами*. Снова вдовствующая императрица дала Европе зрелище истинно азиатского бросанья денег, истинно варварской роскоши. С гордостью могли видеть верноподданные, что каждый переезд августейшей больной и каждый отдых ее — равняется для России неурожаю, разливу рек и двум-трем пожарам. Снова всякие немецкие князья потащились mit Weib und Kind¹, начитавшись в Либиге и Молешотте о непитательности картофеля, на русские хлеба в Ниццу*.

Александра Феодоровна, воспитанная в благочестивых правилах евангелически-потсдамского абсолютизма* и расцветшая в догматах православно-петербургского самовластия, не могла тотчас прийти в себя и найтиться после высочайшей потери. Ей было больно видеть либеральное направление нового

¹ с женами и детьми (нем.).— *Ред*

императора, ее смущал злой умысел амнистии*, возмутительная мысль об освобождении крестьян. Она с ужасом увидела, как эти величавые сваи, на которых держалась николаевская плотина (эти немецкие и русские Клейнмихели), покачнулись. Призрак, мучивший ее тридцать лет, снова восставал из рвов Петропавловской крепости, из-под снегов Сибири и грозил пальцем во фригийской шапке. В самом деле, как было ей не трепетать, когда террористы и люди баррикад, вроде Ланского и Сухозанета*, принимались за кормило судна*, так ловко поставленного на мель ее покойником, что без англо-французской помощи его бы никто и не стащил*. Предвидя 10 августа и 21 января*, оплакивая николаевскую форму мундиров* и великих сподвижников «незабвенного»*, императрица оставила революционный дворец и изволила проследовать в Берлин*.

Там ее ждал новый удар, шедший от близкой руки. Королевственный брат ее*, плохо различающий призвание полов и, сверх того, человек, зашибающий хмелем, вдруг пожаловал императрицу — отгадайте чем? — *чином драгунского полковника**. И вот ей пришлось на старости лет «снимать одежду черну» и нарядиться в костюм, о котором прусская газета говорит: «вполовину фантастический, вполовину драгунский!» Таким августейшим андрогинном и вдовствующим драгуном предстала она перед корпус офицеров, который был тронут до слез, что и ожидать следовало от их звания немцев.

Что, если бы императрице с своей стороны назначить его самого, любезного и королевственного братца, — августейшей директрисой в Смольный монастырь? Посмотрели бы мы, как бы он явился на акт декольте с голыми руками и в рейтузах или в мундире бывшего Кейзер-Николаус регимента-полка*, с крахмаленой юбкой с кринолинами и... брандбурами! Пусть бы он на себе примерил, что значит путать полы.

Это раскрыло глаза императрице, она с каждым шагом в Европе больше и больше переходит на нашу сторону и из императрицы-полковника становится гражданин-императрица. Простота завелась удивительная, никаких этикетов. Одним добрым утром является старый служивый; постучал в дверь, выходит кухарка. — «Кого вам?» — «Императрицу. Дома, что ли?» — «Как же, как же, пожалуйста в столовую, они укладывают дра-

гунский мундир в чемодан». — Служивый идет. — «Помните ли, императрица, как я вас в Потсдаме маленькую вытащил из воды в саду?» — «Ах боже мой, точно, точно — вот истинно гора с горой не сойдется, а человек с человеком все же иное встретится». И она стала вспоминать, как Дон-Карлос, о счастливых днях «Аранхуеца»* в Потсдаме. Что ей теперь Ланской и Сухозанет, что ей освобождение крестьян, — она соболезнует о польских судьбах Ломбардии*, — дайте нам Кавура и освобождение Италии.

Ну, разумеется, с такими мыслями в голове нечего было и думать проезжать Австрию. В ее лета подвергаться австрийскому преследованию, аресту, тюрьме, Шпильбергу*, carcere duro¹ — хуже всякого Мандта. Да и что такое Австрия? гнездилище рабства и абсолютизма, — то ли дело Швейцария.

Швейцария? эта страна без царя, — эта страна, в которой самые горы напоминают la montagne de 93 и время геологического террора*, страна, в которой государственные преступники вроде Телля, этого Пестеля с большей удачей, считаются великими людьми; в которой говорятя открыто такие страшные и возмутительные вещи, что русское правительство сочло необходимым послать туда глухого Криднера посланником, чтобы он не набрался зажигательных теорий.

Все это старые предрассудки. — Die Bürgerin-Kaiserin² в Женеве, окружена толпами девушек с букетами, они делают ей книксен и поют Ständchen — «für unsere Alexandrina»³, музыка и слова нарочно сочинены ad hoc каким-то германским поэтом, потерявшимся на Альпах⁴.

Но в Пиэмонте она уже окружена не невинными девушками, а виновными возмутителями общественного порядка — Борромеи, Литта (почти то же, что Чарторижские и Потоцкие, находящиеся в эмиграции)*. Она берет на руки маленького Бор-

¹ строгому заключению в карцере (итал.). — *Ред*

² Гражданка-королева (нем.). — *Ред*.

³ серенаду «нашей Александрине» (нем.). — *Ред*.

⁴ «Аугсбургская газета» рассказывает, что довольствующая императрица, бывши в Женеве, платила ежедневно 7000 франков за квартиру и 25000 франков на харчи. Если это неправда, пусть оправдываются в этом преступлении

ромео и со слезами на глазах желает, чтоб он увидел скорее свою родину, что в переводе значит, чтоб скорее прогнали из Ломбардии законного императора — и его австрийцев*.

Давно ли у Карла-Альберта был отнят русский полк, или, лучше, у полка было отнято имя Карла-Альберта, за то, что он, проведя целую жизнь в преступлениях и в своей запачканной трокадерской шинели, почувствовал недостойное помазанника божия угрызение совести и дал своему народу человеческие права*. Покойник шутить не любил и слабостей не прощал. Но забыт «незабвенный», и его неутешная вдова весело пенит бокал и на шумном пиру сама провозглашает тост за конституционного короля Сардинии*.

Скоро ли тост Маццини? Да не выпить ли за Кошута? На-солила же им Австрия!

Такова обаятельная сила русского самодержавия, что, я думаю, эти господа сделают со мной чудо, которое не в состоянии был бы совершить самый к. к. св. Непомук*, — примирят меня с Австрией, которую я ненавижу как человек, как славянин, как друг Италии.

Но каков бы ни был либерализм сардинского двора, все же он не идет до уничтожения личной собственности и коммунизма; все же Ницца — не Икарія Кабе*. Опыт распространения *comuna bonogum*¹ решительно не удался императрице. Какая-то англичанка наняла дом с садом, понравился сад императрице — она в него гулять; но англичанка говорит: «Позвольте, не торопитесь, сад я наняла не для высочайшего, а для собственного своего удовольствия, *beg pardon, Mame!*²» да и дверь на ключ. Какова смелость! Она, верно, не знает, что в России ее послали бы солдатом на Кавказ или в каторжную работу лет на тридцать.

Не за то ли обошли одного Ратапци, министра внутренних дел, русской кавалерией*, что он не умел отомстить такой афронт и не поручил солдатам, возвратившимся из Крыма*, взять приступом сад англичанки?

Демократически проводя время с разными пизмонтскими гу-

¹ добрых коммун (лат). — *Ред.*

² прошу прощения, сударыня! (англ.). — *Ред.*